



Н. А. МАКСШЕЕВА

Воспоминания о Вл. С. Соловьеве

Это было для меня время нравственных исканий, жажды веры и идеала. Из выдающихся людей около меня был один яркий, глубоко даровитый писатель и вечно мятущийся человек (Н. С. Лесков). Он только волновал, но не умиротворял мою душу — до того это была бурная, при своих с лишком пятидесяти годах неуравновешенная натура. Мне нужен был кто-то, могущий вывести меня из леса сомнений на прямой путь.

И вот мне попадает в «Вестнике Европы» одна из статей Вл. Соловьева, вошедших потом в его «Оправдание добра»¹. Идея о неприкосновенности человеческой личности обдала меня струей живительного свежего воздуха. Личность автора заинтересовала меня. Мне и раньше приходилось читать некоторые из его статей, но ясного представления о нем как о писателе у меня еще не было, и мне захотелось узнать, каков же этот человек, проникнутый евангельским духом и горячей жаждой истины.

Я расспрашивала о нем Лескова: тот определил его как девственника и вегетарианца. Когда я восторгалась статьей Соловьева, Н. С. спросил меня:

- Чем, собственно, она вам нравится?
- Своим христианским характером, — ответила я.
- Это неопределенно, — сказал Лесков, — ее значение в том, что в ней вера отделяется от нравственности.

На выставке в Академии художеств я видала бюст Соловьева в молодые годы, его задумчивое чело и мужественную голову, — и образ этого мыслителя становился для меня все более и более привлекательным. Однажды, возвратившись с лекции П. И. Вейнберга² о Фаусте, я написала Вл. С. горячее письмо: я говорила ему о нравственном холоде и тоске человека нашего времени, проникнутого материалистическими взглядами в области мысли, удрученного милитаризмом и гнетом в сфере общественно-

государственной. «Ваши слова являются лучом солнца, упавшим в темный подвал. Спасибо за них, большое спасибо».

Я отправила письмо в редакцию «Вестника Европы» и долго не получала никакого отклика, что меня и не удивляло: могла ли я надеяться привлечь внимание такого известного, погруженного в труды писателя?

21 февраля 1896 года умер Н. С. Лесков. Я чувствовала, что порвалась моя единственная связь с заманчивым литературным миром. Случилось не так: на свежей могиле Лескова для меня выросли цветы. Я была убеждена, что Соловьев будет на похоронах известного писателя, своего хорошего знакомого. В небольшой сумрачной церкви на Волковом кладбище, где отпевали Н. С., я увидела высокого худощавого человека, с головой, обрамленной вьющимися седыми волосами, с узкой темной бородой, с глазами, словно пронцающими в какую-то неведомую даль, за пределы земного. Он стоял, погруженный в молитвенное созерцание. Я заметила, что он часто хмурился, как будто под натиском глубоких дум. Когда закрывали могилу, я подошла к своему закомому, В. П. П-му, и попросила его познакомить меня с Соловьевым, с которым, я видела, он разговаривал на кладбище. «А позвольте узнать — вы верующая?» — озадачил он меня вопросом. «Я ищущая», — ответила я ему. Он исполнил мое желание. «Вл. С., я взяла на себя смелость писать вам, — сказала я Соловьеву. — Я знаю, вы так заняты, что я не могла рассчитывать на ответ». — «Куда вы писали, в Финляндию?» — «Нет, в «Вестник Европы»». Он спрашивает фамилию, я называю. Тогда он вынимает из кармана письмо и подает его мне. «Так я вам написал ответ и сегодня как раз хотел его отправить». Я радостно взяла это письмо, ниспосланное мне самой судьбой. «Вл. С., нельзя ли к вам прийти когда-нибудь побеседовать?» — обратилась я к нему. «Отчего же, только ведь я здесь не живу. Лучше я к вам приду», — любезно ответил он и записал мой адрес. «Обидно будет, если вы меня не застанете». — «Тогда я приду в другой раз, на Сергиевской я часто бываю». Условились, что он мне напишет. Нечего и говорить о моем восторге. Затем мы заговорили о покойном Н. С.; я выразила скорбь по поводу его кончины. «Жаль старика...» — вырвалось у меня. «Что делать!» — промолвил П., заметив, что все в этой болезни как бы подготавливало конец. Я передала Вл. С. свой набросок о Лескове, вылившийся у меня под свежим впечатлением его смерти. Затем мы разошлись. Я тут же, на кладбище, прочла заветное письмо.

Многоуважаемая Наталья Алексеевна. Вот запоздалое спасибо за ваше доброе и умное письмо. Прошу вас верить, что разме-

ры моей душевной признательности за вашу симпатию значительно превышают размеры этой записки. На большую часть получаемых мною писем я вовсе не отвечаю, и чтобы вы меня не осудили, вот список работ, лежащих на мне в настоящее время:

1) печатаю «Нравственную философию»; 2) готовлю к печати метафизику; 3) *idem*³ эстетику; 4) *idem* об антихристе; 5) пишу статьи о русской политике; 6) редактирую философский отдел в энциклопедическом словаре Брокгауза—Ефрона и большую часть в этом отделе пишу сам; 7) обещал участвовать в разных благотворительных сборниках и чтениях, редактировать чужие переводы и т. д.

Все это я должен делать своими руками, не имея никакого вспомогательного инструмента вроде жены, секретаря и т. п. К тому же, приезжая в Петербург, могу работать только ночью, так как днем или езжу по своим и чужим делам, или принимаю у себя в гостинице разный народ. Вот и сейчас уж кто-то стучится.

Еще раз спасибо за Ваше милое письмо.

Душевно преданный Влад. Соловьев.

Недели через две после моей встречи с Вл. С. мне пришлось слышать его чтение у С-х. Пригласительного билета у меня не было, к тому же я опоздала и мне пришлось стоять в дверях, так что я слышала лишь часть речи С-ва. (Этот реферат его — о средневековом миросозерцании — напечатан в январской книжке журнала «Вопросы философии и психологии» за 1901 год.)

Но все же скажу, что замечательное получалось впечатление. Зал был переполнен светскою толпой. Нарядные дамы, кавалергарды внимали проповеди изможденного аскета, повествовавшего об отступничестве средневековой Церкви от своего главы — Христа. «Вы пошли не по пути Андрея Первозванного, но Иуды Искариота», — говорил он, рисуя историческую картину, как отрекшиеся от Христа революционеры, атеисты стали ближе ему по духу, нежели его мнимые последователи.

— Но придет время, когда Фома воскликнет: «Господь мой и Бог мой!» — время, когда и сомневающийся воззовет: «Верую, Господи, помоги моему неверию!..»

В толпе царило благоговейное молчание. Когда я увидела согбенного философа, шедшего под руку с хозяйкой дома, он имел изнеможенный вид.

Наконец мне выпало великое удовольствие принять Вл. С. у себя. Это было 8 марта. Он пришел довольно поздно, часу в 11-м. Наша семья сидела за чайным столом. Разговор коснулся современного властителя дум, Л. Н. Толстого. (Тогда только что вышел его «Хозяин и работник».)

— Он имеет громадный обличительный талант, — заметил Вл. С., — его глаз видит мельчайшие пятна. Но у Толстого никогда не было исторической перспективы, понимания истории.

Коснулись статьи Толстого об эмпирической нравственности⁴. Я сказала, что меня не удовлетворяет отношение Толстого к науке, которую он подразделяет на еврейскую, средневековую и т. п., между тем как наука, в смысле стремления к истине, несмотря на все свои уклонения, одна. «Ну да, Толстой понимает науку в смысле нравственного отношения к жизни, а не как мы понимаем ее», — пояснил Вл. С. «Ведь Толстой считает бесполезной деятельность астронома, открывающего звездочку», — заметил П-ий, на что С-в возразил: «Все дело в силе и способности ученого: один открывает звездочку, а другой — мировые законы, как какой-нибудь Коперник».

Я попросила Вл. С. объяснить мне затронутые им в слышанном мною чтении вопросы о Троичности и двух естествах Христа. Он ответил, что в нескольких словах этого не передать, что, вообще, напрасно он касался этих вопросов. Я наивно спросила: «Надо много прочесть, чтобы усвоить себе это?» — «Прочесть или передумать», — ответил он. По его мнению, нет надобности в знании догматических тонкостей. Он вкратце развил взгляд на Бога в индийском мирозерцании, в мусульманском, в христианском. В индийском — Бог все собой поглощает; все сводится к ничему, последняя степень которого есть нирвана. В мусульманском мировоззрении Бог не представляется благом; наоборот, добро хорошо потому только, что оно от Бога. Является, таким образом, признание деспотизма. В христианстве Бог абсолютно благ.

Вл. С. перешел к вопросу о Троиединстве, но, заговорив о бытии, действии и сознании, вдруг приостановился и, мило улыбнувшись, сказал, что таких предметов легко касаться нельзя: они слишком высоки. Со временем, когда мы поближе познакомимся, можно будет о многом побеседовать. Я заметила, что с таким человеком, как он, не хочется говорить об итальянской опере, а хочется у него чему-нибудь научиться. Он опять мило улыбнулся, но своих взглядов более не развивал, а обещал еще зайти и дать мне свою книгу о Богочеловечестве. Мы как-то перешли к Ренану⁵, которого Вл. С. знал лично и определил как поверхностного мыслителя и чисто французского фантазера. Он привел в пример характеристику Марии Магдалины: в ее поклонении Учителю Ренан видит романтическую любовь. «Это даже неверно исторически, — заметил Вл. С., — потому что в то время любовь понимался иначе: романтизм есть продукт христианст-

ва и средних веков. Вместо того чтобы пересоздать веру, Ренан отринул ее совсем и не пришел ни к какому выводу. “*Vie de Jésus*”⁶ недостойна трактуемого ею предмета». Опять мы перешли к Толстому. «Да, это отрицательный ум, — повторил Вл. С. — Он показывает в художественно ярких картинах, что современная Церковь, государство, семья нехороши, и отсюда заключает, что они совсем не нужны. Между тем это крайняя односторонность. Оттого, что неверующий священник совершает литургию, таинство не менее действительно». Когда Вл. С. заговорил о таинстве, о его реальности, я была поражена: в то время какой бы то ни было мистицизм мне казался несовместимым с философией. Цenia в С-ве исключительно философа, я не знала его с религиозной стороны; между тем она-то и составляет ядро его мировоззрения. И когда я сказала ему: «Ну да, понимая таинство символически?» — он ответил: «Нет, в настоящем его смысле». «В чем я согласен с Толстым, — продолжал Вл. С., — это в том, что когда человек умирает, значит, пришла пора ему перейти в высшее состояние». Я еще более изумилась. «А как же души умерших младенцев?» — спросил его П-ий. «Я допускаю, что душа грешника переходит в рождающегося младенца, чтобы, пострадавши, очиститься от грехов. Впрочем, это уже метафизика», — заключил он, как обыкновенно, когда заходил в слишком дремучие леса мысли.

Вл. С. оставался у нас недолго; он пошел к своему приятелю, художнику Ярошенко, жившему в том же доме, и обещал зайти в другой раз. Его беседа произвела на меня сильное и вместе с тем странное впечатление: как будто меня коснулась таинственная рука. В мистическом освещении представлялся мне этот отшельник, живущий среди скал Финляндии, у шумящего водопада (он жил в то время близ Иматры). Я чувствовала себя бредущей в северную лунную ночь, и мне было как-то не по себе: мне хотелось видеть весь мир в солнечном освещении мысли, чтобы лучи ее проникали во все закоулки бытия. А эта область таинственного, затрагиваемая философом, казалась мне чуждой и мрачной. В моей душе происходил внутренний разлад, но я живо чувствовала, что видела нечто необыкновенное...

23 марта мне пришлось слышать чтение Вл. С. об А. Толстом в доме одного из министров. Это был литературно-музыкальный вечер, еще более оригинальный, чем у С-вых: там происходила проповедь христианства в светском собрании, здесь — выяснение идеала свободы в доме русского министра. С покойным А. Толстым С-ва соединяло чувство личной дружбы; он отметил высокий нравственный облик, христианское чувство его поэзии.

Идеалист в политике, как и в жизни, Толстой был поклонником Киевской Руси и ненавистником Московской, приверженцем истинной свободы во всех областях мысли и человеческой деятельности. Но такое глубокое ее понимание, вне партий и лагерей, сделало его одиноким, поставило его «против течения», т. е. против толпы, какая бы она ни была: уличная или светская. Соловьев закончил свою беседу гимном свободе и выражением веры в отечество, которое, надо надеяться, изберет себе ее путь.

Гром аплодисментов покрыл его слова. Во время его чтения электричество потухло, потом опять вспыхнуло, и именно в подходящий момент, когда говорилось о мраке и свете на Руси. Впоследствии мне не раз приходилось слышать из уст С-ва слова как бы в сторону, относившиеся не к самому предмету его чтения, а к современному положению родины. Это было нечто вроде воззвания к исправлению, вставленного в изображение вспоминаемого события или лица.

В этот вечер Вл. С. имел большой успех: он был окружен, как светская красавица. Мой сосед сказал его сестре (Allegro): «Ваш брат входит в моду». Пожалуй, что это мало подходящее к знаменитому философу выражение было верно: его приглашали на расхват и в литературные, и в аристократические дома. Я слышала от одной светской дамы, отличавшейся эксцентричным характером и артистическими вкусами, о ее желании пригласить к себе С-ва. «Я так хотела бы познакомиться с каким-нибудь знаменитым философом», — говорила она, рассказывая о своем влечении к философии, интересе к Платону и т. д. И я думаю, что тут было не одно любопытство: среди своей суетной жизни она чувствовала потребность в философе, как больной — в священнике.

В описанный мною вечер, выходя из обширных зал министра, я уловила момент, чтобы пригласить к себе Вл. С. Он назначил следующий день.

По возвращении домой я провела полночи за письменным столом; под впечатлением вечера у меня вылилось следующее стихотворение:

Осветила заря эту темную даль...
Уж казалось, не будет рассвета,
И придется душе от тоски изнеможь,
Не услышав ни слова привета.

Но живительный голос раздался в ночи,
Возвещая слова упования,
И мы жадно внимали свободной речи
После мук затаенных молчанья.

Этот голос вещал, что на свете есть Бог,
 Что любовь есть всей жизни основа,
 Что из всех пролегающих в мире дорог
 Лишь свобода есть путь для благого.

На следующий день Вл. С. пришел часа в четыре и согласился на мою просьбу отобедать у нас. Я знала о его вегетерианстве; обед был постный, к тому же это было великим постом. Садясь за стол, Вл. С. осенил себя крестным знамением. Никогда он не казался мне более милым, простым и доступным. Среди оживленного разговора он приводил цитаты из своего любимца Козьмы Пруткова. Заговорили о вчерашнем вечере. С-в передавал, что министр остался им недоволен, попенял ему, зачем он читал неподходящие вещи. «Удивляюсь, — заметил С-в, — зачем же он тогда согласился на выбор А. Толстого?» Вспоминая о вечере у С-вых, Вл. С. спросил, не показалась ли странной его проповедь среди салона. Я с затаенным волнением предложила Вл. С. прочесть мое стихотворение, написанное ночью. «А это не слишком лестно для меня?» — шутливо спросил он и стал читать. «Вообще очень правильный у вас стих и такой гладкий, хороший», — заметил он и взял стихи себе на память. Я предложила ему выслушать еще одно стихотворение, посвященное памяти Герцена (напечатанное десять лет спустя во «Всемирном вестнике» за 1905 г.)⁷. Завязалась беседа о Герцене. Вл. С. отозвался о нем с симпатией, как о большом таланте. «Еще недавно мне попались его “Письма об изучении природы”, — сказал он. — Мне понравилось его изложение истории философии. Но странно, что Герцен, будучи в душе идеалистом, поборником свободы и гуманности, не пришел ни к какой религии, остался при материалистических взглядах».

Я чувствовала все большее желание высказаться перед Вл. С. относительно своих религиозных взглядов. Я сказала ему, что испытываю порою религиозную жажду, признаю что-то высшее, но не могу принять разумом чуда. «Что вы называете чудом?» — спросил он меня. Я привела пример насыщения пятью хлебами пяти тысяч человек. С-в заметил, что не берется объяснить всякое евангельское чудо, потому что, по его мнению, не все рассказы о чудесах проверены критикой. Он понимает чудо как явление до сих пор необычайное, но которое будет естественным в будущем. Зарождение клеточки в неорганическом мире было тоже своего рода чудом. Весь мир подлежит законам, но одни из них доступны нашему пониманию, другие же еще не исследованы. Воскресение Христа нам кажется чудом, потому что это первое из явлений нового порядка вещей, ожидающего людей при

втором пришествии. Это полное торжество духа над материей, а Преображение — подготовительная к нему ступень. «Но к чему тут такое чисто физическое явление, как сияние лица?» — спросила я. «Разве ваше лицо не оживится, не просияет при какой-нибудь радостной вести? А у Христа это духовное сияние произошло под видом Преображения», — был ответ Вл. С.

Хотя Вл. С. и говорил, как часто досужие посетители нарушают его одиночество, но мы с П-м выразили желание навесить его в Раухе (близ Иматы) и получили милое приглашение. А я его просила летом собраться в нашу деревенскую глушь (в Новгородской губернии). Меня сильно влекло посетить поэтическое убежище Вл. С., побеседовать с ним о вечных вопросах посреди суровой финляндской природы. Но моя мечта не осуществилась, потому что как раз в это время Вл. С. неожиданно переехал в Петербург. Это было в начале мая; мы с ним опять увидались. В ожидании его я набросала длинное стихотворение под заглавием «Отшельник» и еще следующее короткое:

Как путника в палящий зной
Манит источник средь пустыни,
Искала я душе святыни.
Когда же ключ воды живой

Передо мною заструился,
Я в Бога веру обрела,
И средь страдания и зла
Мой дух Всевышнему молился.

С-в на этот раз оставался с нами недолго.

Долго после этого нам не пришлось видеться. Напрасно я ждала его летом: усиленные занятия помешали Вл. С. заглянуть в наш уголок.

Затем, поглощенный своим «Оправданием добра», он поселился в Царском Селе, замкнулся в своем убежище, и мы с ним всю осень и зиму не видались. Он мне передал через П-го, что не чувствует в себе таланта педагога, чтобы руководить чьим-нибудь философским развитием. А я так надеялась прослушать из его уст развитие новой философии... Тоска во мне все усиливалась, обострялась.

Вот образчик ее выражения в стихах:

На груди скрещены мои руки,
На душе — неотвязный вопрос,
Голова тяжелеет от муки,
Затуманились очи от слез.

Я нуждаюсь в живительном слове,
Одинока я в жизни, поверь...

И как путник, просящий о крове,
Я несмело стучусь в твою дверь...

В своих беспокойных исканиях я направлялась в сторону Л. Н. Толстого. На Новый год у меня родилось стихотворение, посвященное «пророкам», т. е. обоим нашим избранникам.

Почти одновременно с Вл. С. весной 1896 года я познакомилась с одним из учеников Толстого, П. И. Бирюковым⁸. Я видела его в первый раз в маленьком кружке читающим изложение своей веры. Идеалом выставлялся подвижнический аскетизм, условиями счастья — жизнь в деревне, среди здорового труда, без денег и собственности. Не соглашаясь с идеями Бирюкова, я тем не менее почувствовала нравственное обаяние его личности и сразу с ним по душе разговорилась. Он радушно пригласил меня в свою костромскую усадьбу, если я интересуюсь образом жизни людей его взглядов. Я позвала его к себе; он пришел на следующий день. Для меня Бирюков представлял живейший интерес как наглядный выразитель толстовского вероучения и как близкий к Л. Н. человек. Не будучи согласна с нравственно-социальным устройством жизни по этому вероучению, я не могла не чувствовать духовной высоты самого Бирюкова: меня трогали его искренность, убежденность и душевная чистота. И вот, когда зимою я почувствовала внутренний разлад и жажду куда-нибудь приложить свои силы, я написала в Москву, в редакцию «Посредника», предлагая Бирюкову свое сотрудничество и намечая при этом подходящие для разработки темы. Бирюков ответил мне очень сочувственно, излагая вкратце программу своей издательской деятельности. Он одобрял мои темы и предлагал разработать эпоху вроде крестовых походов или Возрождения. Я предполагала заняться этим вопросом за границей, куда собиралась поехать. До отъезда мне удалось свидеться с Вл. С. Встреча наша была случайная — на вокзале в Царском. Я робко подошла к нему: у меня было затаенное чувство, что он за что-то мною недоволен. Но это было только воображением. Он заговорил со мной, по обыкновению, приветливо. Дорогой я рассказала Вл. С. о своем проекте и просила у него указания на источники. Он обещал прислать мне в подарок диссертацию Карелина об итальянском гуманизме⁹, что и исполнил. Разговор у нас не лился потоком; наоборот, мы долго молчали и смотрели в окно, на очертания облаков, озаренных золотистым багрянцем. Вечером я пошла на двенадцать Евангелий; это был великий четверг. Вл. С. одним своим присутствием настраивал меня религиозно. После долгого ряда сомнений я почувствовала смутный порыв веры и выразила его в стихотворении, которое и послала С-ву.

Чувство веры и покоя
 В душу просится мою.
 В этом мире есть святое,
 Я всем сердцем признаю!

И опять на жизнь готова,
 Я пускаюсь в дальний путь,
 Постоять за правды слово,
 Закалив броней грудь.

Пусть же в праздник воскресенья
 Мне звучит надежды глас,
 Что для мира есть спасенье,
 В нем светильник не угас.

19 апреля я опять поехала в Царское. У меня явилось сильное желание навестить Вл. С. в его одинокой келье, и я направилась к розовому домику на Церковной улице. Я застала его в небольшой, заваленной рукописями комнате, одетого в пальто, по-видимому за работой. Это был удачный визит: Вл. С. дал мне на память свой портрет с собственноручной надписью.

Через некоторое время Вл. С. заехал ко мне проститься: в мае я уезжала за границу. Гуляя по залу, он заметил цветы у окна и, подошедши, стал нюхать гиацинт. Я предложила ему сорвать цветок. «Зачем, оставьте, ведь он живет», — остановил он меня, и я почувствовала в нем религиозного созерцателя живой природы. Вошла моя мать. Вл. С., здороваясь, поцеловал у нее руку. Это меня удивило и тронуло: очевидно, он, аскет, хотел почтить в ней материнство. Заговорили о предстоящей коронации; мама ужасалась, чего это будет стоить народу, и зачем? «Это необходимо по понятиям того же народа», — заметил Соловьев. Прощаясь, он спросил меня, куда именно я еду. Я ответила, что в Северную Италию, в окрестности Генуи. «Теперь еще ничего, а уж в мае там невыносимо будет из-за цветов, так они ароматичны, — сказал Вл. С., — я положительно не мог спать, когда мне пришлось быть в это время в Италии». Помню, в другой раз он презабавно рассказывал, как где-то, чуть ли не в Ницце, за табльдотом разбирали его наружность, не зная, к какой его отнести национальности: кто принимал его за итальянца, кто за испанца, еще кто-то за еврея, а по профессии — за художника.

Я уехала за границу. С разными людьми пришлось мне там столкнуться, но я чувствовала, что второго, как Вл. С., нет на искушенном сомнениями Западе.

Осенью я вернулась в Петербург и скоро увиделась с Вл. С. в Царском Селе у одного из наших общих знакомых. Мы соверши-

ли втроем прогулку по чудному Царскосельскому парку, разговор как-то коснулся мистицизма и проф. Вагнера¹⁰. Вл. С. отозвался о Вагнере как о человеке, глубоко посвященном в сущность вопроса о потустороннем мире.

За чаем в тот же вечер Вл. С. рассказывал про явление ему дьявола, о чем он упоминает и в одном из своих стихотворений. «Ехал я на пароходе; вдруг почувствовал, как что-то сдавило мне плечи; я увидел белое туманное пятно и услышал голос: “А, попался, длинный, попался”. Я произнес самое сильное заклинание, какое существует: “Именем Иисуса Христа Распятого...” Дьявол исчез, но весь день я чувствовал себя разбитым». Признаюсь, мне было тяжело это слышать. «Зачем он, философ, распространяет предрассудки?» — думала я, объясняя себе его повествование чистой галлюцинацией, что было возможно при его повышенной нервности. Вл. С. продолжал рассказывать о сверхъестественных ему явлениях: как однажды ночью он увидел трех женщин в платках, одетых богомолками, которые стали перед ним на колени и поклонились ему. «Это были души умерших, просившие поминовения, — сказал он. — Три ночи подряд они мне являлись».

После этого я больше года не видала Вл. С. Не видя его, я тем не менее следила, где он находится, и получала от него отписки его статей.

Мне пришлось увидеть его на торжестве русской мысли и его собственном, именно на открытии Философского общества в Петербурге¹¹. Зал университета кишел народом; и публика, и масса молодежи сошлись приветствовать новорожденное общество и знаменитого представителя русской философии. Раздались громкие аплодисменты, когда на кафедре показалась высокая худощавая фигура этого выходца из эпохи первых веков христианства. Он начал с выражения радости, что находится опять в дорогих ему стенах университета, бывших для него закрытыми вот уже шестнадцать лет (с 1881 г., после его знаменитой речи о смертной казни). Темой его была жизненная драма Платона. Вл. С. заговорил о трагическом моменте в жизни великого философа, когда «погиб отец, погиб праведник» и вера Платона в добро и правду должна была пошатнуться. Какая же сила спасла его от упадка духа, от измены заветным идеалам?.. Недолго говорил наш философ, почувствовав трудность держать речь в большой зале, в многолюдном собрании. Он отвык от кафедры в своем уединении. Извинившись перед заинтересованной аудиторией, он сошел с кафедры и удалился. Почитатели ждали его в коридоре и сочувственно пожимали ему руки.

Он продолжал свою беседу о Платоне в Кредитном обществе. Основная идея его была та, что после смерти учителя Платона подкрепляла идея любви, покамест — только под видом эроса, в античном понимании ограниченного, но содержавшего задатки дальнейшего развития. Если бы Платон был последователен и пошел дальше, он приблизился бы к самой сущности Христова учения. Но он остановился на полпути, изменив по духу своему учителю — Сократу. Беседа об эросе носила мистический характер, малопонятный для непосвященного ума. И сама я это чувствовала, и слышала подобные же суждения в публике.

Осенью 1898 года я опять слушала Вл. С. в Философском обществе: он читал о Белинском, память которого чествовалась весной того года. Обрисовав вкратце гуманитарную роль этого праведника, Вл. С. поставил ему в укор некоторую непоследовательность. Этот «муж желаний», проповедник гуманности и жизненного христианства не развил своих философских воззрений до настоящей веры. А себя Вл. С. упрекнул за то, что в прежние годы, увлекаясь неразрешимым пока вопросом о соединении церквей, он упускал из виду более насущные интересы современности, которым служил Белинский. Это было как бы публичное покаяние общественного деятеля, вернувшегося к жизненной деятельности. «*Mea culpa, mea maxima culpa!*»¹² — вскричал он. Еще и теперь многое из чаяний Белинского осталось неисполненным, и заветы его для нас должны быть святы. Осуществление их не обходится без жертв, но надо стремиться к тому, чтобы благо родины достигалось с наименьшим их количеством и с наибольшей полнотой.

Свою беседу Вл. С. закончил обращением к русскому обществу с пожеланием, чтобы оно не остановилось на своем равнодушии к религии. «Бог даст, — говорил он, — настанет время, когда истинная вера в Бога живого осенит, одухотворит и нашу родную землю». Вспоминая людей 40-х годов, Вл. С. коснулся Герцена, упрекнув его за эмиграцию, за жизнь вне родины. Сопоставив жизненную драму Платона с художественной — Шекспира, философ отдал предпочтение, по внутренней правде и полноте, первой, приведя слова покойного Фета: «Друг мой, поверьте, самый великий поэт и драматург есть Господь Бог».

Больше нам не пришлось уже свидеться. Вернувшись из Парижа весной 1899 г., я звала и ждала Вл. С., но он вскоре уехал в Москву, а затем за границу. А через год с небольшим его уже не стало.

В Париже мне случилось присутствовать на эпизодах дрейфусовской драмы¹³: на митингах и университетских лекциях, взы-

вающих к перестройке общественного здания. Слышала я блестящих ораторов, видела и горячих народолюбцев, и глубоких ученых, и политиков, и педагогов, но такого мыслителя и человека, как Вл. С. Соловьев, мне не пришлось, да и не придется никогда увидеть. Он жил и умер со словами: «Тяжела работа Господня...»

